

Artykuły, Rozprawy

Статьи, Доклады

Владимир А. Шкуратов

РГУ Ростов н/Дону

После Манхэттена (взгляд из России)

Po Manhattanie (spojrzenie z Rosji)

Падение башен Всемирного торгового центра на глазах всего человечества стало не только сильнейшим психологическим шоком и самым грандиозным reality-шоу в истории телевидения, - оно положило конец рассуждениям о том, когда действительно начинается XXI в. Столь единодушное убеждение в том, что рубеж между двумя эпохами обозначен, очевидно, есть эффект от громадной символической наглядности событий 11 сентября. Сейчас, через несколько месяцев после самолётной атаки на небоскрёбы, резонно задать вопрос: не перекрыло ли первое впечатление логическую основательность суждения, действительно ли Рубикон перейдён? Мне кажется, что для ответа следует коснуться феноменологического ядра манхэттенского опыта, которое, наверное, скоро будет погребено под громадным потоком аналитики разных жанров.

Речь пойдёт только об опыте, считанном с экранов телевизоров и с газетных полос. Американскую трагедию в режиме реального времени наблюдали миллиарды людей. Своей наглядностью и шоковой внезапностью она превзошла гораздо более масштабные исторические катастрофы. Это наталкивает на мысль поискать шифр к будущему в самих кадрах и в нашем восприятии их. Историзм события всегда оценивался пост фактум. Только потом - и заглавные исполнители судьбоносного действия, и статисты узнают, какие минуты роковые им довелось пережить. Их эмоции и впечатления подвёрстаны под уже установленный масштаб произошедшего. Манхэттенский случай выбивается из указанной после-

довательности. Здесь размер события устанавливается не умозаключениями. Он увиден всеми и сразу в линзе телевизора. Его глобальная визуальность не позволяет подвергнуть масштаб 11 сентября сколько-нибудь существенному рациональному пересмотру. В противоречие всему, что было раньше, оценки подстраиваются к впечатлениям. Однако эти впечатления трудно назвать непосредственными. Хотя оценочная сетка для них не была заранее подготовлена, она формировалась *in vivo*, в кадре, вместе с операторскими ракурсами, бегущими строками субтитров, логотипами новостей, первыми зрительскими откликами и комментариями. Динамика переживаний оказалась смешанной с рабочими движениями масс-медиа. Я попытаюсь извлечь из этой амальгамы некий набросок под названием «гиперсобытийная постистория». Российская рецепция 11 сентября отмечена инерцией национальных форм восприятия, однако ударная волна будущего дошла и до нашей страны. Особая точка зрения предопределена для автора географическим положением его телевизора и подбором его газет вкупе с установками российской ментальности и российской рефлексивности. К этому добавлена, разумеется, и толика индивидуального (исследовательского) Я, сложившаяся в академических занятиях.

Медийная социология и телеапокалипсис

Российские СМИ стали зондировать общественное мнение об американской трагедии без промедления. Кадры самолётной атаки появились на экранах сразу же после совершения террористического акта и непрерывно транслировались главными российскими телеканалами в течение нескольких часов с минимумом комментариев. А ближе к полуночи телевизионные программы «Времечко» и «Ночной полёт» приводили данные о телефонных ответах на вопрос «Ваша реакция на американскую трагедию». Из 2045 телезрителей 1100 ответили «я в шоке», 815 - «погибших жаль, а США нет», 130 – «мне всё равно». Главной редактор информационной службы АТВ Борис Гуреев утверждал, что тема была предложена самими зрителями, звонившими на телевидение. Очевидно, что первое взаимодействие тележурналистов с наиболее активными, отзывчивыми телезрителями определило вербальную формулу, которая вскоре институционализировалась как *vox populi* по манхэттенско-вашингтонскому сюжету.

Первые телеопросы можно считать суммированной эмоциональной реакцией на случившееся. Поэтому естественно, что вербализованная эмоция «я в шоке» преобладает. Большое сходство результатов первого и последующего социологических опросов может показывать, что: а) теле-социологи адекватно уловили коллективные установки и б) общественное

мнение формировалось в режиме реального (телевизионного) времени, так что ряд комментариев накладывался на видеоряд пылающих развалин. Разрыв между телевосприятием события и выражением отношения к нему столь невелик, что уместно говорить об априорной медийности общественного отклика. Он был вызван телетрансляцией, организован СМИ и адресовывался к ним. Хотя политику российских масс-медиа можно назвать эмоциональной поддержкой американского народа (и она осуществлялась синхронно с человеческой отзывчивостью зрителей), невозможно сбрасывать со счетов иные влияния - лидеров мнения левой и националистической ориентаций, использовавших эфир для подтверждения своего антиамериканизма, и даже в резкой, эпатажной форме (В. В. Жириновский). Следует отметить и немедленную, чрезвычайно чёткую реакцию президента Путина, выразившего своё отношение к событиям в эмоциональной фразе «Мы с Америкой». Однако обращает на себя внимание то, что среди первой, самой активной и сочувственной выборки около 40% выбрали опосредованный идеологический ответ «погибших жаль, а США нет», а 6% демонстративно (звонок, к тому же, был платный) выказали равнодушие.

Стоит отметить, что публичных выражений радости в России, в отличие от арабских стран, не было; во всяком случае, сообщения о них отсутствовали. Они были исходно погашены масс-медиа, оставлены за сеткой закрытых вопросов. Интервью первых часов не предполагали изъявления удовольствия от американских событий. Масс-медийное конструирование первого «непосредственного» отклика вытесняло антиамериканизм в сферу рессентимантных эмоций. Оно делало публичное ликование мало возможным, создавая общественный порог для таких откликов, выводило их за пределы общечеловеческой морали, а также государственной, расовой, религиозной солидарности. Наоборот, поощрялось выражение поддержки пострадавшим - не только общечеловеческой, эмоциональной, но и в духе сплочения европейцев и американцев против угрозы с Юга.

Интересно, что первые опубликованные обсуждения общественного мнения по манхэттенско-вашигтонским событиям, скорее, преуменьшают вес сочувственного отклика и подчёркивают другие реакции. Тот же Б. Гуреев с сожалением констатировал идеи мести у большей части российского населения [1]. Директор социологического центра РАН А. Согомонов упомянул упорный антиамериканизм России, добавив теоретизирования относительно человеческой природы: мол, общегуманистическая позиция всегда в меньшинстве, не только в у нас, но и в США. Согомонов попытался определить мотивацию антиамериканизма, указав на её рессентимантную основу [там же]. В опросе ВЦИОМ, опубликованном 20 сентября, удовлетворение террористическим актом допускалось. Его

выразило 4% москвичей (неясно, опрашивались ли только коренные москвичи или и многочисленные приезжие). 48% высказали сочувствие к жертвам [2].

Отражение-конструирование первого отклика взяло на себя преимущественно телевидение. В прессе преобладали комментарии, восполнявшие недостаток оперативности столь характерными для российской печати публицистичностью и литературностью. Здесь разворачивалась топика, обычно приписываемая российской ментальности. В качестве примера рассмотрю «Известия» - умеренно-либеральную серьёзную газету. Её манхэттенский номер вышел 13 сентября (12 сентября газета смогла опубликовать только коротенькое сообщение об атаке).

На третьи сутки после события газета, вместо текущей информации, предлагает продуманную аранжировку нескольких тем. На первой странице - блок аналитических материалов, пронизанный сожалением относительно инерции российского сознания. Он озаглавлен «Погибших жаль, а США...», хотя по содержанию результатов следовало бы поставить «Я в шоке». Однако журналисты предпочитают акцентировать российское распутье. В первом комментарии показана та ментальная установка, которая ожидаема для России в судьбоносные моменты. Ожидание, естественно, превращается в реальность.

Подвальный же материал первой страницы даёт пример должного поведения, урок политкорректности и этнокультурной педагогики. Он называется «Неожиданный момент истины» с подзаголовком «Россияне дерутся с арабами на курортах Египта». Речь, правда, идёт не о массовых драках, а только об одном россияnine, набросившемся в баре Хургады на радостных египтян. Этот факт подвигает журналиста М. Юсина к широким обобщениям: «Американская трагедия стала моментом истины. Моментом истины для нас. То, как мы на неё отреагировали, дало ответ на извечный русский вопрос: кто мы - европейцы или азиаты?» [3]. Слезы на глазах российских телезрителей, цветы у ворот американского посольства и поступок российского курортника подразумевают, что вопрос перешёл в ответ. Материал М. Юсина вносит ноту сбывшегося долженствования, тогда как его коллег – смятения и продолжающегося распутья. Намеренно или ненамеренно российская газета демонстрирует смесь идеологии и политики, неизжитый литературоцентризм, пресс «проклятых вопросов» - набор из интеллигентского конструктора российской ментальности. К этому добавляется инерция стиля.

Не обошлась без апокалипсиса. Впрочем, эта любимая тема российской политико-публицистической риторики и важнейшая составляющая книжной менталитета представлена уже в сниженной, пародийной тональности и в новом медийном пространстве. Шапка страницы первого послеманхэттенского номера составлена как бы куском кино-

ленты, на которой горящий Нью-Йорк. Рядом - указ президента о минуте молчания. Под передовицей в качестве цитаты дня приведены два извлечения из Нострадамуса: «В Божьем Граде разразится большой гром, братья будут разорваны Хаосом, и хотя сама крепость устоит, великий вождь будет повержен...» и «Третья большая война начнётся тогда, когда запыляет большой город». Передовица поручена телекритику Ю. Богомолу. Составляя смысловой центр страницы в обрамлении ламентаций медийной социологии и подвального оптимизма, она переводит роковое событие эпохи в эсхатологическую тональность. Название статьи играет аллюзиями, добавляя к обычному и ожидаемому риторизму момент иронии и самопародирования. Заглавие «Весь мир - насилие» - парафраз, понятный человеку советской эпохи. Клаузула в оригинале первой строки партийный гимна «Интернационал» после первого, разрушительного утверждения («Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем») давала интонационную паузу, что и обыграно, как сомнение насчёт того, что же будет затем. Старый мир уже разрушен, подзаголовок «На каком свете мы живём» поставлен в стилистике русских вопросов. Таким образом, манхэттенский апокалипсис одновременно представляет собой и первую главу книги «Бытие». Это введение в новый мир на обломках вчерашнего недаром поручено тележурналисту. Телевизионная онтология построена не на метафизике. Веха имеет культурологический смысл. Начинается, впрочем, с «кто виноват?» Но показательно, что перед нами - не следственная гипотеза, а род обвинения и самообвинения по медиаведомству. У автора нет сомнения в том, что старый мир разрушили кинодеятели и террористы нового, глобально-постановочного пошиба, «Голливуд вроде бы накликал беду на Америку своими многочисленными худфильмами, фантазиями о транснациональных террористических организациях. Художественные призраки имеют свойство материализоваться» [4]. Русские символисты и футуристы в начале прошлого века тоже непрерывно предсказывали катастрофу и предсказали. Теперь эта грустная честь перешла к Голливуду. Из доходного производства халтуры он превратился в пророческую и даже демоническую инстанцию. Его поделки, оказывается, пахнут адом.

В передовице указаны вехи срачивания массового зрелища и террора. Сначала жертвами оказываются случайно оказавшиеся на месте покушения люди, террор направлен против носителей власти. В XX в. появляется заложничество. Акция в Будённовске - веха, ноу-хау Ш. Басаева: впервые в заложники взят город. Перипетии торговли людьми показываются телевидением как хроникальный триллер. Это реальное экшн невозможно и бессмысленно без СМИ. Телевидение роковым образом соединяется с терроризмом. Шаг следующий - уже не продажа, а убийство мирных жителей. И опять Россия проторила тропу зрелищному устрашению. В Америке же оно приобрело масштаб и символизм. Этому альянсу совре-

менной аудиовизуальной техники и терроризма автор противопоставляет естественное сострадание человека к себе подобным. В качестве опровергаемого тезиса взято название соседней колонки «Людей жалко, а Америку...», причём, многоточие заменено словом «нет». Скомпонованная журналистами формула общественного мнения превращается в отрицательный рефрен номера и в пункт воспитательно-просветительной проработки читателей. Вывод состоит в том, что мы все ответственны друг перед другом и не стоит ограничивать человеческое сочувствие идеологическим «но». С газетной трибуны раздаются назидательные и, конечно, верные слова о том, что не надо злорадствовать и выводить из трагедии какую-то мораль для пострадавших. Урок царям, урок Америке? Нет! Государству не больно, за всё платит страданиями отдельный человек. Нерелигиозный апокалипсис заканчивается десакрализацией и деисторизацией воздаяния. Раньше наказание державы мыслилось как наказание подданных. Но это потому, что всякий человек был символизированным носителем греха прародителей. Он получал возмездие, так как ходил под Богом. Теперь все мы ходим под терроризмом.

Как и во времена Горбачёва, поворот к Западу требует общечеловеческого гуманизма. Тогда - на основе созидательного сотрудничества, теперь - сострадания. Газетная колонка по-прежнему действует как трибуна проповедника. Просветительская стилистика осталась, к ней прибавился комплекс вины. Газетные наследники русской литературы пытаются повысить степень сопричастности индивидуального человека к аду чужого страдания. Трудно сомневаться в их искренности. Но при этом собственно журналистская работа оказывается отодвинутой на второй план. Информация запаздывает, читательские отклики отредактированы и отретушированы. Вместо репортёрских зарисовок с натуры - попытка оживить свои же собственные литературно-публицистические каноны. Вместе с тем, социологизированная риторика смыкается с более личными и непосредственными откликами людей искусства. Как бы принимая обвинения критики, они каются. Для них 11 сентября 2001 г. находится посередине между общественно-политическим событием и хэппенингом новой эпохи. Башнепадание воспринято как глобальная констелляция постмодернизма и в то же время как грех массовой культуры. В том же номере «Известий» приведены отклики участников Торонтского кинофестиваля. Общий тон: американская трагедия - это продолжение экшн-кино. После трагедии такие фильмы ставить аморально. Наиболее категоричен актёр и режиссёр Сергей Бодров: «это всё придумали мы, киношники, и как взрывается Пентагон, и как рушится Торговый центр, и как захватывать самолёты. Без кино этой трагедии просто бы не было. Поэтому ощущение сейчас странное. По горячим следам невольно думаешь, что такое кино надо запретить» [5]. Эмоциональный Бодров понимает, что кинопродукцией не обойдётся

шься, «телевидение, если разобраться, вредная штука». В сценарии самолётной атаки узнаётся работа своего брата, оператора и сценариста. «Эти восемнадцать минут между первым и вторым самолётами, которые врезались в башни Торгового центра, они же неслучайны. Всё точно рассчитано: чтобы успели подъехать телекамеры! Террористы, по сути, снимали свой фильм, который должен мир запугать, а телевидение просто показывало им техническую поддержку. Не будь телевидения, всё на свете, превращающего зрелище и сенсацию, терроризм не мог бы возникнуть, он был бы бессмысленным. Поэтому я и решил с телевидением завязать» [там же].

От власти-литературы к власти-телевидению

В рассуждениях прессы, помимо покаяния и учительской роли, полученной по эстафете от литературы, чувствуется и доля рефлексии над быстро меняющимся положением СМИ в российском обществе. За 10-15 лет они преобразовались в «четвёртую власть». В противоположность трём другим игрокам на поле политики, которые составляют реальную власть, эта власть - иллюзорная (не в смысле умаления мощи, а по предмету приложения). М. Фуко определил отношение двух властей через дефис: знание-власть (см. 6). Указанная связка первостепенна для Запада. Русская же история оттеняет чрезвычайную устойчивость политизированного воображения, которое, по аналогии с термином М. Фуко, я назову властью-литературой. Без этого альянса едва ли можно понять и пышный расцвет русской литературы, и многолетнее правление «утопии у власти».

В России 19-20 вв. наука находилась в полном распоряжении государства и никакой самостоятельной общественно-политической роли не играла. Литература же заменяла оппозицию и соперничала с бюрократией за влияние на страну. Временами её представители достигали жреческого авторитета. Ясная Поляна - российская Мекка начала прошлого века. На дореволюционной карикатуре «Два царя в России» маленький император копошится у ног громадного Льва Толстого. Это - кульминация формулы «незначительный правитель во времена великого писателя», имеющей хождения до конца советского периода. Хотя писатели сочиняют романы, а не управляют страной, аллюзия литературократии затушёвывает различие между духовной и государственной властью - и так для России не безусловное.

Среди самых значительных симптомов послесоветской эпохи - быстрый закат литературоцентризма. Публицистика и политическая беллетристика толстых журналов, достигших невиданного расцвета при перестройке, передаётся по эстафете газетам. Послесоветская пресса, последнее прибежище политизированной словесности прошлого, до крайности измельчает, разме-

нивает на стереотипы накопления великой литературной эпохи и оказывается во вторых - третьих рядах иллюзорной власти. В путинской России борьба уже ведётся за кнопки национальных телевизионных каналов. В деле НТВ телевидение рискнуло вступить в конфликт с Кремлём. Оппозиционные медиа-деятели напоследок выступили в роли и в стилистике свободного российской слова. Их убедительность была снижена тем, что противная сторона пользовалась той же фразеологией. Сражение шло за телевизионную картинку, слово дискредитировалось, и его закат выглядел разительным в сравнении с накалённым ораторским пафосом перестроечных съездов. Дело НТВ подоживало политический раздел информационной сферы: государство выделяло телевидение как сферу своих исключительных приоритетов, пресса понижалась в ранге и тем самым избавлялась от плотной опеки центра, к сетевой же коммуникации, маргинальной и мало распространённой, переходило первенство экспериментального и свободного самовыражения. Поскольку и освоение высшими политиками визуальной техники и поэтики стало очевидным, можно сказать, что в России состоялась мутация власти-литературы во власть-телевидение. Самочувствие СМИ противоречиво: с одной стороны они добились паритета с реальной властью, с другой - трудно делят права и обязанности с партнёром по тандему. 11 сентября опять существенно сдвигает статус масс-медиа, однако в каком направлении и с какими последствиями - что-либо внятное в хоре всеобщего смятения пока трудно услышать.

Перед тем, как возвратиться к манхэттенской катастрофе, я остановлюсь на доктринальных обоснованиях позиций иллюзорной власти в плане её правомочности и ответственности перед обществом и государством. До сих пор ей отводилась роль транслятора креационистской (теоцентрической) или соционатуральной картин мира. Комментаторский ряд первой картины есть теодицея, т.е. оправдание супранатуральной личности творца. Он создаётся посредством библейского сюжета и находится в ведении религии и литературы. Продолжающееся влияние последней населяет послесоветскую прессу образами воздаяния, Апокалипсиса, вины в десакрализованной гуманистической тональности. Но возвратиться к теологическому обоснованию события уже затруднительно. Апокалипсис изъят из символической рамки наказания гордых и превращён в риторическую фигуру гуманизма. Собственно религиозная трактовка события в прессе минимальна. Величественные зиккураты Запада были сокрушены не Богом, а злокозненными анонимами. Апокалипсическое зрелище окончательно эмансипировалось от трансценденции, от философско-религиозной культуры, но также и от её художественных суррогатов. Переставая быть коммерческим вымыслом, оно окончательно секуляризируется.

Соционатуральная картина мира концентрируется вокруг историоидеи и пользуется языком причинно-следственного анализа. Однако манхэттенско-вашингтонские события, строго говоря, изъяты также и из ведения истории,

поскольку история ведь не ставила битвы и войны в рамках эфирного времени. История была обусловлена и сама обуславливала.

В российской прессе развернулось столкновение двух точек зрения: подходить к сентябрьским событиям с социально-экономическим анализом неравенства в мире или прямо выражать сочувствие жертвам самолётной атаки? В столкновении книжного гуманизма и детерминистского историзма позиции обоих диспутантов уже закрыты тенью нового спорщика. Под влиянием сильнейшего визуального шока история переходит в постисторию. Самообвинения масс-медиа следует признать мистификацией, за которой скрывается следующий шаг информационно-технической цивилизации. Самое показательное в эмоциях медиа-деятелей - смешение демиургического самосознания и крайний страх перед новым положением. СМИ впервые оказались сильнее реальной власти и замещают её, но не готовы принять свою грядущую роль.

Первое объяснение ужасающего сходства поэтики, техники современного кино и манхэттенско-вашигтонской трагедии лежит на поверхности. Сегодняшний мир фиксируется аудиовизуальной техникой в масштабах, несопоставимых даже с предыдущими десятилетиями, не говоря уже о более давних временах. Идея американца А. Данто о тотальном хроникёре истории, запечатлевающем каждое событие на своих скрижалях [см. 7], звучавшая чистой фантастикой, сейчас близка к осуществлению. Всё мало-мальски достойное внимания в наши дни записано на видеокассетах. Но техника, оказывается, не просто фиксирует события - она их создаёт. Более того, масс-медиа вторгается в реальность и производит её у нас на глазах. Вялотекущая дискуссия философов искусства «отражает или создаёт?» подошла к неожиданной развязке. Эстетика постмодернизма, признающая искусством любое проявление жизни - стоит его только вставить в кадр и чуть - чуть подретушировать - подготовила поворот идеологически и психологически. Своими сетованиями и покаяниями медиа-деятели невольно превращают громадный взрыв в очередную констелляцию, но уже качественно иного, всемирного масштаба. Американское башнепадение - первый глобальный хэппенинг постпостмодернизма. Искусство вновь зависимо от реальности, но реальность словно составлена из кадров этого же искусства.

Новая онтология, или бегство от образа

Художническая интуиция улавливает смену онтологий. Манхэттенский обвал как будто даёт шанс кантовскому тезису об априорности наглядных представлений, но тут же отменяет его в пользу доктрины опосредствования. Образ - главный герой 11 сентября. И он выбит из цепи причинно-

следственной детерминации. Окаменевшие канаты вечных вопросов увязывали для российского зрителя кошмар непосредственного впечатления. Но в местах иных зрелище не было так упаковано, да и российский зритель смотрел на телеэкран собственными глазами. Как переживали люди самые тяжелые секунды и минуты в эпицентре события? Вот кадр, который, наряду с пробивающими небоскрёбы самолётами, стал одним из символов американской трагедии: на фоне вздыбленной страшным смерчем нью-йоркской улицы две молодые женщины; одна из них, упав на колено, кричит, указывая на что-то страшное. Мы знаем, что она кричит. «Смотрите, они падают». Люди гроздьями выбрасывались из окон небоскрёбов, мостовая была в кровавой каше. Объективы телехроники в порядке самоцензуры целомудренно отворачивались от самых тяжёлых сцен. Смерть - моментальная, внезапная и бессмысленная, разворачивалась на глазах громадного количества зрителей.

Тема десимволизированной кончины в XX в. проработана экзистенциализмом. Избавленная от защитной ритуальной плеромы, смерть показывается как прорыв в бытии, абсурд, ничто. Но одно дело - штабеля трупов на фотографиях и в кинокадрах, а другое - настоящее исчезновение живого человека, которое можно фиксировать и сколько угодно просматривать.

После появления Homo sapiens'a грань жизни и смерти относится к самым символизируемым и хранимым моментам глубинного опыта человека. Вот почему грубая и резкая десакрализация таинства отзывается громадным потрясением не только для индивидуальной психики, но и для всех окультуривающих её символических практик. В смятении медиа-деятелей слышится эхо знаменитого вопроса Т. Адорно: «Как возможна литература после Освенцима?» За понятными человеческими эмоциями в нём различима профессиональная озабоченность. Как возможно визуальное искусство после Манхэттена? Нить времени, правильное символическое связывание которой является делом искусства, в кровавой мясорубке разрывается. Литература поддерживает преемственность жизни и смерти словами. Художественная словесность после Освенцима всё-таки осталась, но распад её классической изобразительности неизмеримо ускорился. Отныне призраки обезличивания, отчуждения, обесмысливания поселились в самой сердцевине её опыта как свидетельства грехопадения, которое она пережила вместе с европейским человечеством. Похоже, теперь наступает очередь масс-медиа. Вслед за словесным искусством символическая нить выдернута из образной ткани массового вещания. Обсуждая в радиовыпуске «Свободы» пресловутую вину кинематографа, Александр Гиннес употребил выражение «дискредитация образа». Образ был востребован как альтернатива словесным идеологиям, особенно коммунизма и фашизма. Слова, побывавшие в употреблении у тоталита-

ризма, лишились содержания. Образ остался относительно нетронутым, теперь - и на нём клеймо. Кто и как дискредитировал образ, Гиннес не пояснил. Очевидно, глобальные террористы со своими камерами. Собеседник Гиннеса рассказал о впечатлениях своего знакомого. Тот ехал из нью-йоркского аэропорта и смотрел на горящие небоскрёбы. Он видел пожар, но не мог признать его за реальность. Это был вымысел. Признать подлинность зрелища оказалось крайне трудно.

В этих отрывочных впечатлениях просматриваются контуры смещённой онтологии, в которой реальность и вымысел поменялись местами. В спорах между сторонниками социального конструкционизма и доктрины отражения, похоже, наступает решающий перелом. Картина перед глазами человека фиктивна (сконструирована) и в то же время перцептивно реальна. Она вынесена за пределы той условной рамочности, которая позволяла воспринимать её в качестве «как бы реальности» и помещена туда, где раньше находилась реальность без «как бы». Дилемма рождает шлейф трансцендентных сомнений, поскольку ставит на место реальной природы или Бога или ещё не обозначенное авторство. Возможно, это дьявол. Однако сильно секуляризованное сознание начала XXI в. делает такую гипотезу малопопулярной. Масс-медиа готова каяться, но едва ли признать за собой авторство нового мира. Признать авторство за тёмными силами также сомнительно.

Теоретики, которым предстоит трудиться над собиранием новой картины мира, должны будут связывать чувственность не с основоположениями чистого рассудка, а с опосредующими техниками масс-медиа. Образ является наименее социализованной частью познания. Человечество потратило громадные усилия, чтобы овладеть индивидуальной чувственностью. Массовая культура, цивилизация зрелища - примеры такого «овладения». Весь XX в. прошёл под знаком индустриализации образа. В первой половине XX в. - посредством кино, во второй - посредством телевидения, в конце века - видеотехники. Всё шло к доместификации и коммерциализации зрелища. Зритель привыкал к виду небывалых бедствий и гибели людей на экране, понимая, что всё это - «как бы». В фильме катастроф смерть показывается человекомерной, её абсурд умеряется героизмом главных персонажей и помещается внутрь сюжета.

На Манхэттен была сброшена образно-информационная бомба, сопоставимая в «эквиваленте» с разрывами над Хиросимой и Нагасаки. Во-первых, имела место катастрофическая новость, во-вторых, она оказалась катастрофой для регулярного вещания, шоком для коммуникации. Сетка передач смялась, эфир несколько часов транслировал только взрывы. На некоторое время наблюдаемый мир оказался диким, хаотичным, нечеловекомерным.

Индивидуальное восприятие, очутившееся один на один с чудовищной аномалией зрения, не знает, в какую категориальную сетку поместить

зрелище. Однако рука тянется к видеокамере и фотоаппарату. Александр Гиннес на «Свободе» отметил как вопиющую подробность ужасного дня: набережная напротив Торгового центра усыпана людьми, в одной руке - сотовый телефон, в другой - видеокамера. Цепь медиа-коммуникации скомкана, и этот разрыв непрерывно возбуждает индивидуальное восприятие, непосредственное чувство. О. Витальев сообщает из Нью-Йорка: самыми ходовыми товарами в первые часы после взрывов на Манхэттене были респираторы и одноразовые фотоаппараты. «Масштаб трагедии ещё не осознавался тогда в полной мере - но было совершенно ясно, что происходит что-то невероятное, о чём будут писать потом в учебниках. Чувство сопричастности вершащейся буквально на глазах истории брало верх над ужасом и заставляло отщёлкивать километры плёнки, заполняя гигабайты памяти цифровых фотоаппаратов. Через день-другой нести эту неимоверно тяжкую ношу в одиночку уже не представлялось возможным - и любительские снимки заполнили Интернет, мгновенно вызвав интерес гораздо больший, чем впечатляющие кадры телехроники» [8]. 14 сентября в Сети появилась уже выставка из снимков, сделанных внутри падающего небоскрёба. Одна вскоре сайт рухнул, не выдержав сотни тысяч посещений. «После недели своего интернетовского существования эти кадры всё-таки становятся частью истории и, расходясь по Сети в цитатах и гиперссылках, умножают нереальные жуткие миры, о существовании которых нам всем бы хотелось поскорее забыть» [там же]. Несомненно сходство этих минимально опосредованных, плохо социализованных, неоткомментированных впечатлений с кошмаром. Просматривание снов есть видеоряд без или почти без комментариев. Если Страшный суд произойдёт, то это будет кошмарное сновидение, и мы не сможем определить, сон это или явь, искусство или реальность. Однако, похоже, что люди, отщёлкивающие ужасные кадры и так стремящиеся от них избавиться, не думают о Страшном суде. Они, возможно, готовятся к такому будущему, где события станут сновидны. Во всяком случае, онтология, представленная причинно-следственным объяснением, и поэтика, представленная сюжетом, 11 сентября 2001 г. были потеряны, по крайней мере, на пару тысяч секунд. Бегство от свободы в самом последнем, постисторическом варианте оказалось бегством от несоциализованного, неопосредованного, необъяснимого зрелища. Прорыв в картине мира стал затягиваться той же самой массовой медиа, деятели которой покаются в причастности к преступлению.

Ignorabimus - 2: конец конца истории?

Манхэттенское башнепадение позволяет вернуться к некогда популярному словосочетанию «конец истории». Введённое Ф. Фукуямой [9],

оно довольно быстро вышло из моды, т.к. события не подтвердили основных положений американского автора. Ведь после окончания холодной войны «прелести истории» остались. Более того, в 1990-х годах волна кровавых столкновений задела и Европу. Сейчас, в ретроспективе, можно утверждать, что конец истории всё-таки состоялся. Правда, привёл он не к истории, а к постистории.

Причины манхэттенских взрывов едва ли когда-либо будут до конца объяснены и раскрыты. Ignorabimus Э. Дюбуа-Реймона повторяется в конце XX - начале XXI вв. Однако лозунг агностицизма касается теперь не тайн природы, а загадок общества. И связан сегодняшний скептицизм не с деморализацией научного мышления, а с приходом новых средств политической деятельности. Если раньше политика опиралась на причинно-следственное объяснение и классическое романное повествование, то теперь - на техническое аудиовидео и на дискурс-нарратив, который и является стержнем современных сомнений. Россия стоит в авангарде такого хода вещей. Её СМИ продолжают выяснять, кто организовал путч 1991 г., чеченскую войну, взрывы жилых домов в 1999 г. и время от времени оглушают аудиторию компроматами. Диверсии в Москве, Волгодонске, Буйнакске вполне гиперсобытийны. До этого был взрыв небоскрёба в Канзас-Сити, унёсший жизни сотен людей. Однако фанатик, заложивший взрывчатку под офисное здание в американском штате, и убийцы жителей спальных районов ещё не догадались выбрать хороший съёмочный ракурс и запустить телекамеры вместе с взрывным устройством. Манхэттенская новация заключается и в масштабе, и в постановочном замысле. Действо «11 сентября 2001 г.» смотрела миллиардная аудитория. Весь мир превратился в глобальный зрительный зал. Парализующая эффектность помпезного символизма рождала ассоциации и с Пёрл-Харбором, и с Апокалипсисом, и с Третьей мировой войной. Однако содержание события не было самоцелью, в отличие, скажем, от японской бомбардировки базы американского тихоокеанского флота. Там целью были военно-морские силы. Здесь - организаторы не ограничивались намерением разрушить два небоскрёба и сбить котировку акций. Цель заключалась в самом зрелище. И экстраординарность постановки отозвалась по всей медийно-образной цепи - от новостного вещания до подсознательной психики.

Кто и как затянет разрыв в интеллигибельной ткани мира, в политическом порядке, в человеческом сознании? Уместно предположить, что название этой силы опять будет писаться через дефис. Новая онтология зависит от реорганизации противостоящей злонамеренным анонимам глобальной власти. Основной принцип старого порядка - конфронтационное уравновешивание военно-государственных макросистем - рухнул вместе с небоскрёбами ВТЦ. Отныне он будет работать преимущественно на исторической периферии цивилизованного мира. Сильнейшее потрясение

коснулось мифологии явного врага, обслуживавшей государственные противоборства XX века. Терроризм нанёс удар в её солнечное сплетение - по привычным способам канализации страхов. Замещение явного врага врагом неявным, невидимым, диффузным и сопутствующая этому децентрализация угрозы чревата резкой вспышкой тревожности. Очевидно, что риторика борьбы с мировым злом, возобновлённая Дж. Бушем, и быстрое определение адреса возмездия имели целью разрядить напряжение в американском обществе и объективировать угрозу. Однако реконфигурация психологических защитных механизмов этим не произведена, а только отодвинута, поскольку цивилизованному миру впредь придётся иметь дело с виртуализированным противником. Президент Буш пообещал, что Америка будет воевать с терроризмом десятки лет. Такой прогноз подкрепляет идеи о распространении «серой зоны» и нового феодализма. Однако следует предусмотреть, что, во-первых, против ползучих очагов агрессивной маргинальности будет укрепляться всё более глобальная власть, отождествляющая себя с мировым цивилизованным порядком, и во-вторых, что борьба будет вестись методом внезапных демонстративных точечных ударов и всё более перемещаться в информационное пространство.

Новая событийность требует новой политики. Во-первых, сам терроризм конституируется как власть особого рода - тайная, децентрализованная и тотальная. В ответ порождается антитеррористическая власть - такая же глобальная и гибкая. Геополитическим следствием взрывов стало сильное смещение внешнеполитической ориентации России к Западу. Призыв к замыканию северной дуги цивилизации от Японии до США через Россию нашёл отклик в кабинетах высшей власти. Он принёс медовый месяц сотрудничества Кремля и Белого дома в афганской кампании. Независимо от того, чем он закончится, идея глобального отражения угроз продвинулась семимильными шагами.

Психологическим последствием Манхэттена стало напряжённое ожидание очередного «грома с ясного неба», сравнимого по формату и стилю с атакой на небоскрёбы. Успешные действия военно-политической машины США против талибов и Аль-Каиды в Афганистане смягчили послеманхэттенский шок, однако никто не ожидает, что эра глобального терроризма, едва начавшись, закончилась. Методика, опробованная 11 сентября, увы, едва ли заржавеет. Всё сказанное сулит перерождение событийной исторической ткани картины мира в постисторическую. До выяснения же статуса нового порядка законодатели вводят временные ограничения для граждан. Медиа-коммерция склоняется к самоограничениям, поскольку её находки становятся средствами реальной политики (это также прогнозировалось искусством. Вспомним фильм «Дни Кондора», где тихие литработники, читающие для ЦРУ детективы, неожиданно

находят в них сценарий действительной тайной операции и потому ликвидируются). Однако сказанное, надо понимать, не относится к академической прогностике.

Отличия истории от постистории видятся в характере событийности (экстраординарная, точечная событийность vs регулярной, линейной связи событий), её масштабе (глобальные сенсации-катастрофы vs мозаики локальных существований), преобладающей темпоральности мира (последовательность прошлого-настоящего-будущего vs взрывчатого настоящего), субстанции-носителе коллективного опыта (информационная мультимедийность vs соционатуральной предметности-знаковости), типах социальной организации (воображаемые сообщества vs реальных контактных социумов), формах интеллигибельности и сотериологии (неидеологизированные нарративо-дискурсы vs теодицей - историодицей), практиках социализации и персонализации индивида (поликультурных vs мононациональных), защитных механизмах психики (личностной децентрации vs централизации Я).

Остаётся только надеяться, что, подобно тому, как для просмотра ужасов истории религия, искусство и наука выработали свои экраны и фильтры, так и для кошмаров постистории найдутся свои поэтика и свои рациональности. Они и станут ответом на вопрос, какой мир возможен после Манхэттена.

Эти разрозненные заметки я завершу пояснением насчёт вопроса о связи политики и картины мира, варьировавшегося в них. Он поставлен профессиональными академическими занятиями автора. Академизм позволяет относительно отстранённо ставить темы, которые в более популярном варианте покажутся крикливыми и сенсационными. Политика и картина мира связаны более, чем считала классическая наука. Дискурсивная практика и есть язык, порождающий то, что, по старым представлениям он призван только отражать. Сейчас реальность и дискурс сопорождаемы. В этом смысле сопорождается и террор. Увы, если бы его не было, его следовало бы выдумать. Мирное существование, как известно, не даёт таких толчков человеческому развитию, как угрозы ему. Терроризм просто отметил новую размерность мировой событийности, и он дал толчок к реорганизации запоздавших структур мировой политики. Пока он стал особым постисторическим курсивом в том, что М. де Серто назвал письменностью истории (см. 10).

Источники и литература

- 1) Подлесова И., Шаравский А. «Погибших жаль, а США...» // Известия, 2001, № 168 (26 006).

- 2) Ильичёв Г. Москвичи решительнее киевлян. Как россияне и украинцы восприняли американскую трагедию // Известия, 2001, № 173 (26 011).
- 3) Юсин М. Неожиданный момент истины. Россияне дерутся с арабами на курортах Египта // Известия, 2001, № 168 (26 006).
- 4) Богомолов Ю. Весь мир – насилие. На каком свете мы живём // Известия, 2001, № 173 (26 011).
- 5) Кичин В. Альтернативное кино. Фестиваль взял тайм-аут // Известия, 2001, № 173 (26 011).
- 6) Foucault M. Histoire de la sexualite. V. 1. La volonte de savoir. P., 1976.
- 7) Danto A. C. Analytical Philosophy of History. Cambridge, 1965.
- 8) Вигальев О. Глаз очевидца // Известия, 2001, № 173 (26 011).
- 9) Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии, 1990, 12.
- 10) Certeau M. de. L'écriture de l'histoire. P., 1978.

11 September is observed as a beginning of posthistory with hyperevent's structure. Temporary terrorists destroyed the universal way of TV-translation. Shocking performance of terror attack in the real time caused the gap in the mass communication, intelligible worldview and human being consciousness. These acts make questionable hierarchy of illusory and actual power, which was established in XX century. Article is devoted to Russian mass-media reaction to the American tragedy in the beginning and it is ended by differentiation between history and posthistory. Author concludes that terrorism initiated new type of world events and organization of new global order.